

«История входит в дверь»: значение работ Ф. Давуан и Ж.-М. Годийера для исследования воплощенного опыта и межпоколенческой травмы

*Валери Уолкердайн, Айна Олсволдб
и Моника Рудбергс*

*(Пер. с англ.: К. А. Барке, Н. П. Бусыгина,
С. В. Ярошевская;
Науч. ред.: О. В. Чекункова)*

Валери Уолкердайн – заслуженный профессор-исследователь в Школе социальных наук Кардиффского университета. На протяжении многих лет она занимается исследованиями гендера, класса и субъективности. Ее последняя книга – «Гендер, работа и сообщество после деиндустриализации: Психосоциальный подход к аффекту» (Palgrave Macmillan, совместно с Луисом Хименесом). В настоящее время она является стипендиатом программы Leverhulme Trust Major Research Fellowship «Корни и пути», исследуя передачу информации от поколения к поколению и «развитие». Она также художница, специализирующаяся на инсталляциях и перформансах.

Айна Олсволдб (Норвегия) – доктор философии, старший клинический психолог, прошедшая подготовку в области детской и подростковой психоаналитической психотерапии. В течение многих лет она является преподавателем детской и подростковой психоаналитической психотерапии в Центре психического здоровья детей и подростков Восточной и Южной Норвегии (R.BUP) и в Норвежской ассоциации психоаналитической психотерапии с детьми и подростками (NFPPBU).

Моника Рудбергс – профессор кафедры педагогических исследований Университета Осло, в течение нескольких лет занимается исследованиями молодежи и гендера. Ее последний проект «Гендер во времени – исследование трех поколений женщин и мужчин» (совместно с Харриет Бьеррум Нильсен) отражен в нескольких статьях и книгах, как на норвежском, так и на английском языках.

Работа французских психоаналитиков Франсуазы Давуан и Жана-Макса Годийера направлена на понимание того, как большие исторические травмы, связанные с войной, оживают в потомках, часто через несколько поколений, в опыте, который они не могут понять и который выливается в психоз. Давуан и Годийер разработали уникальный клинический метод, с помощью которого они вместе с пациентом исследуют то, что они называют недостающим «социальным звеном», звеном, разорванным в предыдущем поколении личным или семейным опытом экстремальной ситуации. Их работа, основанная на историческом переосмыслении и расширении подхода Лакана, перекликается с психосоциальными исследованиями в социальных науках и имеет для них большое значение. В этой статье мы показываем, как разработали метод интервьюирования женщин, которые были серийными мигрантками. На примере их историй мы также объясняем, как обращали внимание на сложные проявления в материале воплощенного опыта (embodied experience), связанного с историей рабства, колонизации, бедности и миграции. Наша цель состояла в том, чтобы предложить способ работы с межпоколенческой травмой, который бы не патологизировал, но все же признавал передачу страданий и дистресса, ее сложные пути, повороты и изменения между поколениями. При этом мы стремились обеспечить такой способ работы, который радикально отвергает любой раскол между психическим/личным и социальным/историческим.

Ключевые слова: травма, психоз, история, воплощение, социальные исследования, Давуан и Годийер.

Введение

В своем предисловии к спецвыпуску журнала «Тело и общество», посвященному теме аффекта, Лиза Блэкман и Куз Венн (2010) призывают к разработке новых исследовательских методов, которые позволили бы приблизиться к тому, как тело говорит и коммуницирует. Данная статья принимает этот вызов и предлагает разработать методы, которые будут задействовать невербальные и неосознаваемые измерения опыта для изучения воплощенного знания (embodied knowledge). Блэкман и Венн бросают вызов исследователям тела – предлагая подумать о том, как можно собирать данные, в которых в большей мере будет учтена воплощенная составляющая опыта (data of a more embodied kind). В ответ на этот вызов мы предлагаем собственную адаптацию для социальных исследований работы Франсуазы Давуан и Жана-Макса Годийера, двух парижских психоаналитиков, специализирующихся на психозах. В частности, их интересует, как ужасающий исторический опыт (например, переживание войны или геноцида) усваивается таким образом, что не может быть высказан, но тем не менее передается из поколения в поколение как воплощенный опыт (embodied experience), который невозможно понять, пока его историческое происхождение не будет буквально воплощено в жизнь.

Хотя клиницисты уже давно работают с идеей о том, что травматический опыт может быть пережит, но не осмыслен и передаваться из поколения в поколение без осознания (здесь мы имеем в виду, например, огромный объем работы по изучению последствий холокоста для разных поколений), социальным исследователям сложно найти методы, с помощью которых можно понять такой тип воплощенной передачи опыта (*embodied transfer*). Мы обращаемся к работе Давуан и Годийера, потому что они не только психоаналитики, но и ученые, которые, по сути, понимают работу с пациентами как совместное исследование. В свете этого можно поставить вопрос об адаптации и использовании в социальных исследованиях их метода и клинических результатов для понимания проблемы межпоколенческой передачи.

Мы понимаем, что вопрос о том, как исторические события проявляются в телесном опыте, очень сложен. Поскольку Давуан и Годийер считают неразрывность телесного и исторического центральным элементом своего клинического подхода, мы сочли целесообразным изучить, можно ли разработать исследовательский подход, используя их клиническую теорию и метод в качестве ориентира. Позиция, которую занимают эти клиницисты, как мы постараемся показать, очень интересна. Она заключается в том, что исторические события переживаются и передаются одновременно в больших исторических нарративах и как малые истории, которые воплощаются в отношениях. В силу постлакановской ориентации Давуан и Годийер сосредотачиваются на историзации регистров бессознательного, которые Лакан назвал Реальным, Воображаемым и Символическим. Их подход отличается от основной линии психоаналитической работы с исторической травмой, где ее представляют как то, что передается внутри семьи, а историческое рассматривают как своего рода фон (например, *Faimberg, 2005*). Все это, конечно, дискуссионно, и в плане клинического метода, и потому, что их взгляд на историческое состоит в том, что социальная связь держится на символизации. Именно потеря социальной связи означает, что она должна быть передана и сохранена в теле. Но поскольку рассматриваемые проблемы находятся в центре внимания современных социальных исследователей, мы предлагаем этот подход как вклад в дискуссию и надеемся, что он вызовет отклик.

Наше исследование началось, когда мы в составе исследовательской группы работали над спецпроектом в Институте перспективных исследований Норвежской академии наук. В частности, мы занимались темой межпоколенческой передачи; для этого мы разделились на небольшие группы, в которых рассматривали различные аспекты темы и различные методологические способы подхода к ней, используя уже имеющиеся данные из исследований участников группы. В нашем случае это были данные Энн Феникс из уже опубликованного ею (*Phoenix, 2008*) исследования серийных мигрантов из стран Карибского бассейна в Великобританию. Под серийной миграцией в данном случае понимается ситуация, когда родители маленьких детей мигрировали с Карибских островов в Лондон, а их дети воспитывались другими людьми, часто бабушками и дедушками, и присоединились к родителям позднее. Участниками исследования были

именно дети мигрантов, на момент интервью уже взрослые. Энн Феникс поделилась с нами отдельным случаем, материалом участницы по имени Анджела, интервью с которой Энн назвала трудным и отличающимся от всех остальных. Мать Анджелы эмигрировала в Великобританию, когда девочке было семь лет, а воссоединились они в ее 14. Все эти годы ее воспитывала бабушка по материнской линии. Сегодня Анджела – женщина с хорошим образованием, профессионал, живущая одна со своими взрослыми детьми. Интервью, которые проводила Энн, были нарративными по форме. Мы пытались подходить к работе над текстом интервью и дополнительным материалом (полевыми заметками, аудиозаписями) с разных сторон. Наша группа решила попробовать разработать подход, адаптирующий работу Давуан и Годийера, в основном опираясь на их книгу «История по ту сторону травмы» (2004), но и состояла в прямом контакте с ними самими. Они комментировали то, что мы написали, и поправляли нас, если считали, что мы неверно поняли какие-то их идеи. Хотя Энн Феникс не входила непосредственно в подгруппу, написавшую эту статью, мы постоянно обсуждали с ней свою работу и показывали написанное нами. Разумеется, то, что сделали мы, отличалось от сделанного ею, но в этом и заключалась цель – посмотреть, что другой подход может принести и проявить в данных.

Мы, конечно, прекрасно понимаем важные различия между клинической практикой, которой занимаются такие психоаналитики, как Давуан и Годийер, и психосоциальным исследовательским проектом, таким как проект «Феникс» и наш собственный. Цели в двух этих случаях будут различаться, поскольку клиническое вмешательство ставит целью достижение индивидуальных изменений и облегчения страданий, чего не делает исследовательский проект. Время, затрачиваемое на сбор информации, очевидно, также совершенно разного порядка, а возможности прямой проверки гипотетических интерпретаций в терапевтическом процессе, конечно же, таковы, что это недостижимо в исследовании. Ограничения в нашем конкретном случае еще более очевидны, поскольку наши интерпретации сделаны на материале расшифровки интервью, да еще и проведенного не нами. Хотя такие вторичные психоаналитические интерпретации текстов не редкость и их интратекстуальная валидность может быть обоснована (*Ricouer, 1991; Nielsen, 1995*), они явно иного толка по сравнению с теми, которые рождаются в ходе психоаналитической сессии *in vivo*. Все эти ограничения будут более подробно обсуждаться по ходу текста, как и причины наших (упрямых) попыток их преодолеть. Однако, поскольку Давуан и Годийер, как и мы, – социальные ученые и рассматривают свою клиническую работу как исследование, они приняли наш подход и помогли его реализовать. Давуан и Годийер разработали способ работы с передачей исторической травмы между поколениями и способ размышления об этой передаче, который не отделяет исторический опыт от семейных процессов и предлагает радикальный отказ от разделения социального и индивидуального. Именно этот бескомпромиссный

исторический подход к психосоциальным исследованиям стал главным источником вдохновения для нашей, признаться, спекулятивной попытки применить их метод в анализе случая серийной миграции.

Подход Давуан и Годийера

Чтобы понять разработанный нами подход, необходимо понять некоторые моменты теории и практики Давуан и Годийера. Основа работы Давуан и Годийера – понимание психоза как проявления разрыва того, что они называют социальной связью (*social link*), то есть разрыва в межпоколенческой передаче исторически обусловленных болезненных страданий, обычно связанных с войной. Их подход к исторической передаче исходит из радикальной переработки Лакана (*Racamier, 1989, 1992*). Социальная связь содержится в паттернах человеческих отношений и дает о себе знать во многих неформальных способах общения, рассказах, песнях, мифах, на которые люди опираются, чтобы понять свой опыт и поделиться им. Давуан и Годийер работают над микропроцессами под особым влиянием размышлений Жака Ревеля (1996) о микроистории. Если опыт не может быть передан за пределы социальной группы или через поколение, то связь будет разорвана. Она разрывается потому, что опыт настолько болезненный, что его невозможно передать, и поэтому он погружается в молчание социальной амнезии. Однако мы не можем просто считать, что то, что было разорвано или замолчано, переживается как вытесненное. Человек, переживающий последствия разрыва, может быть на одно или два поколения дальше от переживших опыт и может испытывать то, чего не вытеснял, потому что просто не знает, что именно знает и чувствует его тело. В начале книги «История по ту сторону травмы» авторы цитируют Винникотта (1974), рассказывая о страхе распада. Он утверждает, что страх пациента перед распадом в будущем как будто «уже был», но пациент не присутствовал при его возникновении. Согласно Винникотту, «то, что еще не пережито, тем не менее произошло в прошлом» (р. 105). Пациент должен пережить травму, прежде чем ее можно будет вспомнить. Травма не принадлежит вытесненному бессознательному невроза. Это означает, что ее нельзя просто вспомнить, потому что опыт был телесным, в нем тело зарегистрировало травму, но в тот момент она не могла быть помыслена. Во многих отношениях это центральный момент метода, используемого как в клинике, так и в отношении данных исследования. Что и как передается исследователю/читателю/аналитику? Если что-то известно, но не мыслимо, это может быть передано, но не прямым путем через механизмы мышления и репрезентации. Таким образом, необходимо найти способ осмыслить предлагаемую коммуникацию. Именно этим занимается аналитик в рамках переноса; однако, адаптируя методы, которые использует аналитик для понимания, исследователь тоже может быть чувствительным к формам коммуникации, отличным от тех, с помощью которых обычно интерпретируется речь в рамках социальных исследований. Таким образом, мы утверждаем, что ключевым вопросом является не действие или аффективный

метод, который исключает речь, а признание того, что коммуникация через речь может быть не прямой и говорить нам о чем-то непереработанном, непомысленном, но все же сообщаемом.

Поэтому центральный аргумент касается вопроса о подходе, который не делает акцент на вытеснении, а скорее фокусируется на межпоколенческой передаче посредством воплощенной передачи (*embodied transmission*) невыговариваемого и замалчиваемого опыта. Давуан и Годийер утверждают, что пока то, чего боятся, не пережито в настоящем, оно может передаваться и дальше. Другими словами, страхи, тревоги могут передаваться из поколения в поколение различными способами, при этом следующее поколение не понимает тревоги, которую оно так сильно ощущало в теле и передавало в культуре. Это не вытесненное, хотя люди могут, как предполагает Винникотт, бояться будущего распада – чего-то, что может произойти в будущем и что они пытаются предотвратить, на самом же деле то, что они пытаются предотвратить, уже произошло, «но пациента не было там, чтобы оно могло произойти с ним» (*Winnicott, 1974, p. 105*). Как мы увидим далее, очень важно понять, что для Давуан и Годийера это относится к событию, находящемуся в истории, и цель их работы – перенести эту историю в настоящее, поняв, как она присутствует в здесь-и-сейчас аналитической сессии.

Таким образом, повседневная семейная история («малая история», микроистория, *Revel, 1996*), в которой событие не может быть передано, является частью более широкого исторического опыта («большая история», макроистория), через который оно было прожито. В работе, которой занимаются Давуан и Годийер, это обычно военное время. Таким образом, они отказываются отделять текущее страдание или боль от изначального источника – заключения, депортации, смерти родственников, товарищей и так далее. Боль, однако, может передаваться детям и их потомкам различными способами, которые дети воспринимают и включают в свою жизнь, не понимая, что им передается, и впоследствии передают ее в неузнаваемом виде другому поколению, которое в итоге переживает ее как психоз в случаях, которые рассматривают Давуан и Годийер. Шрамы от первоначальной раны в текущем опыте могут проявляться, скажем, в отце, который страдает резкими перепадами настроения, депрессией, пьянством и которому дети должны уделять внимание; видя боль и дистресс, дети чувствуют тревогу, при этом не понимая смысла того, что происходит. Их тело испытывает последствия передаваемой боли как свой собственный дистресс, и этот дистресс может в дальнейшем передаваться их детям, которые опять же могут не понимать, почему они испытывают такую тревогу. Попытки предотвратить повторение боли могут также переживаться коллективно через то, как группа, семья или сообщество развивают практики и способы совместного существования, которые пытаются удержать членов группы от угрозы уничтожения (*Walkerdine and Jimenez, 2012*). Таким образом, работа аналитика заключается в исследовании вместе с пациентом, в работе над «анамнезом» в здесь-и-сейчас, то есть в совместном поиске того, что может быть передаваемым событием, которое воплощает пациент.

Социальная связь и доверие

Для дальнейшего объяснения их метода нам необходимо обратиться к тому, как они историзируют мысль Лакана, вводя доверие как основу социальной связи. Они утверждают, что лакановское представление о дискурсе и есть социальная связь: «мы говорим вместе», субъект и Другой. Социальная связь строится на доверии и взаимоотношениях более чем двух людей. Мы также можем понять это как указание на центральную роль отношений. Так, Блон (1959) в своей работе об атаке на связь также показывает значимость связи для воплощенной первичной коммуникации, создающей ощущение, что жизнь продолжается. Когда доверие нарушено, связь подверглась атаке, и мы можем ожидать в этом случае отторжения самой связи, которая больше не кажется безопасной. Таким образом, разрыв социальной связи переживается на уровне Реального при передаче из поколения в поколение. Реальное работает в напряженном несовпадении с Воображаемым и Символическим порядком. В понимании Давуан и Годийера Реальное – это опыт за пределами языка, и поэтому он не может быть вытеснен.

Для Давуан и Годийера отсутствие безопасности может проявляться в двух формах социальной связи, которые Лакан охарактеризовал в терминах Воображаемого и Символического. Хотя Воображаемое – место создания и удержания связи, это также пространство, в котором связь и, следовательно, доверие могут быть атакованы конкуренцией, сравнением, соблазнением и играми власти. Это означает, что связь легко нарушить, а вот Символическое, пространство альянса, создает больше возможностей для поддержания связи. В Символическом субъект не заперт в этих парных отношениях, не зависит от того, что думает о себе Другой, но может создавать альянсы или договоры, которые заключаются между более чем двумя людьми. Доверие – это «основа субъекта речи и истории» (*Davoine and Gaudillière, 2004, p. 45*). Таким образом, доверие проявляется не просто в аналитических отношениях, а в масштабных событиях через социальные и культурные договоры и доверительные отношения. Именно то, как малое входит в большое и наоборот, является главным в их подходе к материалу, и именно это мы считаем центральным посылом для социальных исследований.

Нарушенное доверие и связь, которые исследователи обнаруживают в случаях психоза, одновременно являются предательством малых и больших историй – одно, как мы покажем дальше, нельзя отделить от другого. Однако, по их словам, доверие стоит на хрупкой основе, и, как мы увидим на материале, который будем обсуждать в этой статье, это доверие постоянно предается на многих уровнях. В понимании динамики альянса или договора они обращаются к древнегреческой этимологии слова «символ» (*sym/bolon*). Оно отсылает к возможности соединения после разрыва, символизируемой разбиванием керамики и последующим соединением осколков (*Davoine and Gaudillière, 2004, p. 71*). Таким образом, возможность социальной связи, созданной через альянс, – это объединение тех, чья принадлежность была разорвана или разрушена предательством.

Следовательно, симптомы, появляющиеся в аналитической сессии, приводят аналитика к месту недоверия или месту, где доверие было подорвано, месту предательства. Поэтому предательство доверия принципиально для понимания того, как может быть повреждена или разорвана социальная связь, нарушено соглашение. Хотя мы можем воспринимать это как крах доверия в отношениях с Другим, это одновременно является частью социально-исторического процесса, в котором договоры и соглашения также были преданы. Именно на этом пересечении работают Давуан и Годийер, отказываясь отделять одно от другого.

Использование работы Давуан и Годийера как метода исследования

Анализ, который проводят Давуан и Годийер, характеризуется работой в здесь-и-сейчас через перенос с пациентом, чтобы восстановить эту социальную связь. То есть они работают с тем, что представлено, точно так же как исследователь работает с интервью или любым другим материалом исследования. Хотя мы признаем, что вторичный анализ данных интервью, созданных с другой целью, совершенно не похож на клиническую встречу, как мы отмечали выше, мы предполагаем, что между исследовательской встречей и клинической сессией больше сходства, чем может показаться на первый взгляд. Хотя Давуан и Годийер хотят избежать споров о клинической специфике и уникальности переноса (см. *Parker, 2010*), они утверждают, что мы регулярно оказываемся в ситуациях, в которых возникает тот или иной вид переноса. Однако их использование резонанса направлено на создание ситуации, в которой с человеком, потерявшим связи, можно связаться. Технический аспект их подхода к терапии заключается в том, что, создавая связь от материала пациента к своему собственному опыту, они возвращают пациента в социальную связь. Хотя в данном анализе мы не устанавливаем связь с участником, тем не менее мы утверждаем, что использование резонанса очень эффективно для привлечения нашего внимания к отрывку с очень высоким уровнем аффекта. Хотя, конечно, другие люди могли бы выбрать другое событие, вопрос скорее в том, что человек делает с этим событием, как он резонирует с ним, находит с ним коммуникативные и аффективные связи. Таким образом, хотя материал и анализируется, этот анализ не принимает поверхность речи или нарратив за всю коммуникацию. Таким образом, методологически это диалогический процесс, даже если в данном случае мы создаем диалог с неизвестным человеком.

Резонанс и непосредственное (immediacy)

На первой встрече с пациентом, говорят Давуан и Годийер, аналитик оказывается «близко к жуткому». При встрече с травмированными пациентами немедленной реакцией может быть желание отстраниться, чтобы не быть втянутым в страдания. «Это столкновение дестабилизирует нейтральность терапевта и приближает его (*sic.*) к аффектам, которые он

предпочел бы не испытывать. По крайней мере не сразу, когда работа еще не началась и он еще не может сориентироваться в истории – истории пациента, думает он осторожно» (*Davoine and Gaudillière, 2004, p. 122–123*). Встреча с пациентом в «жутком», не охраняемом ни доброжелательным сочувствием, ни теоретическими концептами, представляет собой почти жестокую угрозу. И все же именно в этом угрожающем опыте кроется возможность близости: «Насильственное принятие самой крайней инородности в этот момент тождественно установлению теснейшей близости: близости неизвестного, жуткого, которое не имеет шансов выбраться из своей укрепленной позиции, если только другой не придет его искать» (*Ibid, p. 123*).

Как мы можем встретить участника исследования в жутком? Конечно, мы делаем это постоянно и неизбежно. Обычно мы переживаем сильный внутренний отклик как реакцию на участников, нравится нам это или нет. Поэтому Давуан и Годийер предлагают нам обратить внимание на этот момент, прислушаться к тому, что говорят нам наши тела. Мы очарованы? Испытываем отторжение? На самом деле они описывают процесс, в котором аналитик хочет почувствовать «я не такой, как вы» (в данном случае – не психотик), но именно в этот момент становятся очевидны тесные сближения, которых мы предпочли бы не чувствовать. Именно в них мы можем максимально задействовать телесный разум (*bodymind*) этого другого, в нашем случае участника. Как аналитик пытается сохранить ощущение своего отличия как аналитика (и, следовательно, не пациента), так и в нашей борьбе за то, чтобы быть исследователем, а не участниками, мы можем обнаружить, если потрудимся посмотреть, что нам показывают именно то, что связывает нас с ними.

В отношении текста интервью вопрос, таким образом, заключается в том, какой резонанс, связанный с жизнью читателя, он в нем вызывает. Каким образом можно найти резонанс с историями, которые всегда так или иначе отличаются от наших собственных – найти близость в случаях «крайней инородности»? Задействуйте свои чувства, говорят нам Давуан и Годийер, потому что в аналитическом сеттинге такие чувства не принадлежат только аналитику, будучи «результатом совместной работы» (*2004, p. 58*). На наш взгляд, то же самое относится и к резонансу, вызываемому текстами интервью: он не принадлежит ни читателю (как более или менее личное замешательство), ни тексту в отдельности. Он является результатом связи между историями, которая проливает свет на интервью.

Важность фиксации «непосредственного» (*immediacy*) Давуан и Годийер противопоставляют поиску причин, который обычно имеет место в психоаналитической работе. Они предлагают выйти «за рамки принципа причинности», поскольку травмированный пациент – это также пациент, для которого время больше не «функционирует в привычном направлении»: оно стоит на месте, или, как произносит Шляпник в «Алисе в Стране чудес», выговаривая травму обезглавливающей Королевы, «теперь всегда шесть часов» (*Ibid, 2004, p. 163*). В этом контексте вряд ли имеет смысл говорить о прошлом, пишут они, поскольку «подобная катастрофа, не поддающаяся передаче, не может быть вписана во время»

(2004, p. 126). В безумии Я взрывается – это больше не отдельный человек, а непосредственное, здесь-и-сейчас, ищущее свидетеля, – и через этого свидетеля оно попытается установить новую социальную связь взамен оборвавшейся. Как аналитик вы должны эмоционально и телесно резонировать с этим непосредственным, дать знак (частичку себя), чтобы «запустить время» снова (2004, p. 164).

Опять же, текст интервью – не пациент. Тем не менее это также здесь-и-сейчас, которое, хотя часто имеет повествовательную (и хронологическую) форму, не говорит нам напрямую о том, как происходит то, что рассказывается. Читая интервью, мы находимся посреди чего-то – и именно с этого «посреди» мы должны начать наш поиск лучшего понимания происходящего. Этот подход отличается от нарративного прочтения, поскольку его целью является не понимание истории или ее структуры, а поиск аффективных моментов, которые можно рассматривать как точки доступа к пониманию (возможного) разрыва социальной связи. Участник может стремиться представить понятную историю своей жизни и таким образом создать ощущение «целостного Я». Тем не менее такое стремление к связности само по себе будет иметь пробелы и умолчания – разрывы, которые привлекут внимание интервьюера или читателя. Именно благодаря резонансу в читателе такие пробелы можно увидеть/услышать. И хотя читатель не присутствует рядом с респондентом, резонанс, который текст вызывает в читателе, этот аффективный контакт открывает.

Событие

Одна из ключевых задач, которую необходимо решить при разработке метода на базе работы Давуан и Годийера, – это понимание использования ими концепта «событие». Этот термин в последнее время стал широко известен в англосаксонском мире благодаря интересу к работам двух французских философов: Делеза (1990) и Бадью (2006). Давуан и Годийер используют этот термин иначе, чем Делез и Бадью, и нам не следует смешивать или путать эти различные употребления. Они используют его для понимания того, что происходит во время клинической сессии. Они отталкиваются от ощущения странности повествования, в котором есть сочетания, погружающие слушателя/читателя в чувство, что что-то соединено странным образом, что-то не стыкуется или выглядит бессмыслицей. Давуан и Годийер формулируют это следующим образом: пациент приносит событие, и то, к чему нужно прислушаться, – это детали, которые кажутся неуместными, которые коробят, что заставляет аналитика рассматривать их как возможное место разрыва, ключ к другим смыслам, которые еще не могут быть выговорены, потому что они являются частью «немыслимо известного» (Bollas, 1987), то есть тело знает их, но они пока слишком болезненны, чтобы дать им воплотиться в жизнь. Событие – это то, что приносит пациент, то, чем он является, он приходит с этой историей в поисках Другого. Слушатель и есть этот Другой,

и событие резонирует с ним. Резонанс события с собственным опытом терапевта – то, что дает пациенту ощущение, что его услышали. Это чувство «я понимаю, что вы хотите сказать» создает социальную связь.

Таким образом, цель клинической работы – вместе с пациентом понять эти связи и их травмирующее воздействие на пациента¹. Для Давуан и Годийера событие – это место истории. Это точка, в которую, безусловно, вмещивается Реальное, но это Реальное, Воображаемое, Символическое – историческое событие, которое прикрепляется к субъекту через процессы межпоколенческой передачи, через то, что называют малыми историями, то есть это микроопыты повседневности, переживаемые телесно, аффективно, бессознательно. Таким образом, событие приводит нас к тому, что выделяется – к тому, что не вписывается, переживается как аффект. Поэтому, когда детали в рассказе яркие, они приводят слушателя/читателя в точку повышенного сенсорного осознания того, что произошло нечто значительное. Какое чувство это создает у читателя? Какой резонанс это вызывает в нем? Именно здесь мы вступаем на территорию события. Событие изменчиво и динамично, оно создается в процессе рассказа и его восприятия слушателем, и поэтому нам нужно обратить пристальное внимание на воздействие рассказа на слушателя, чтобы получить подсказку о том, что в нем сообщается, хотя еще не может быть высказано.

Этот разрыв бытия – страдание, слишком сильное, чтобы его вынести или понять. Это место травмы и передачи исторического опыта. Задача аналитика – работать с пациентом, чтобы вместе исследовать то, что уже известно, но пока не может быть помыслено. Задача же исследователя – прочитать материал таким образом, чтобы понять содержащуюся в нем аффективную коммуникацию, чтобы мы могли увидеть попытку передать разрыв бытия, происходящий из истории, которая не была создана участником. Это еще не удалось сделать осознаваемым. Подчеркивая изменчивые, динамичные, аффективные и бессознательные аспекты события в психоаналитическом прочтении, можно сказать, что разрыв – это не просто рациональный пробел в знании, отделенный от бытия, но угроза самому бытию. Таким образом, знание не отделено от исторической ответственности и опыта субъекта.

В следующем разделе мы разберем отрывки из интервью с Анджелой, чтобы показать, как мы выбрали один фрагмент в качестве события, почему мы выбрали именно его, а затем – как мы продолжили анализировать разрыв. Далее мы обсудим наши соображения о материале с точки зрения соотношения микро- и макроисторий и возможного разрыва социальной связи.

¹ Мы можем также заметить, что Блон (1961) характеризует событие сходным образом, отмечая, что это место «катастрофы», или катастрофического разрыва бытия.

Анджела – резонанс и событие

В интервью Анджела рассказала о несчастливом детстве на Ямайке с бедной бабушкой-инвалидом. Мать не присылала денег из Великобритании; отец, никогда не живший с матерью, тоже не обеспечивал девочку. Ее воссоединение с матерью в Великобритании также было описано как тяжелое. Когда она приехала, мать снова была замужем и родила еще троих детей; отчим Анджелы ничего о ней не знал. Когда Анджеле было 16, мать уехала работать няней в США, и Анджела должна была заботиться об остальных детях.

Эта история рассказывалась в быстром темпе без заминок и пауз более пяти часов. Согласно полевым заметкам, интервьюер чувствовала, что ее бомбардируют и что она не контролирует ситуацию. Интервьюер также чувствовала, будто не имеет значения, есть она там или нет. Можно сказать, что Анджела бомбардирует Энн своим рассказом, потому что ищет Другого, социальную связь, желает быть услышанной; однако эта потребность настолько сильна, что Анджела пока не может ее сформулировать, и это затапливает Энн, которая чувствует перегрузку и отторжение. Таким образом, есть попытка установления связи и ее отталкивание. Можно сказать, что именно это чувство является ключом. Что же это такое, что требует быть услышанным, но его так трудно услышать, что слушатель не в состоянии установить связь? Дело в той истории, которую она рассказывает, или здесь замешана другая, более сложная история? Для Давуан и Годийера эта более сложная история – та, которая связывает ее повседневный опыт и историю (малую, или микроисторию) с более масштабными историческими событиями, такими как рабство, колонизация, бедность и миграция.

Резонанс

Пятичасовое интервью Анджелы, быстрый темп, чувство бомбардировки у Энн, наши собственные ощущения перегруженности, измотанности и даже отсутствие эмпатии к Анджеле у некоторых из нас сами по себе являются полезными данными. В терминах Давуан и Годийера все это – сообщения того или иного рода, попытки установить связь, которые вызывают определенные реакции у слушателя/читателя, как показывает работа Биона (1959) «Атаки на связь». Мы можем использовать эти реакции, чтобы попытаться понять, что именно сообщается, а не только или не столько произносимые слова.

Как уже упоминалось, нарратив Анджелы – история, полная предательства и подрыва доверия в ближайшем семейном кругу. И мы задаемся вопросом: служит ли манера рассказа Анджелы, быстрый темп без колебаний и пауз, еще одним способом передать опыт подрыва доверия в малой и большой истории? Когда Анджела все говорит и говорит, пытается ли она удержать Другого? Испытывает ли она тревогу, что как только она остановится, Другой покинет ее? Интересно, что исследовательница чувствовала, что Анджеле безразлично, есть она тут или нет. Можем

ли мы понимать говорение как способ «держаться» и «сдерживать» себя? Согласно Дж. Симингтон (1985), постоянные разговоры могут быть связаны с примитивной защитой (второй кожей) постоянных движений². Не можем ли мы считать рассказ сам по себе формой второй кожи? Является ли рассказ ее способом создания непрерывной неизменной психической кожи без каких-либо дыр или щелей, через которые могло бы просочиться Я (*Symington, 1985, p. 483*)? В тексте интервью есть места, которые подтверждают эту интерпретацию, и Анджела действительно использует термин «держаться»: «Я не помню, чтобы меня держали». И когда мы связываем малую историю отношений с большой историей серийной миграции, как это делает сама Анджела в интервью, мы можем сказать, что своим отношением во время интервью Анджела повторяет ситуацию, в которой она не получала эмоциональной поддержки и в которой ей приходилось все делать самой. В интервью Анджела говорит, что задавалась вопросом: не потому ли родители не заботились о ней, что она им не нравилась?

Резонанс – это реляционный концепт, который позволяет аналитику установить связь с пациентом и таким образом работать совместно. На наш взгляд, он также актуален для проведения социальных исследований, поскольку позволяет нам подходить к чтению активно и аффективно.

Согласно Давуан (2007), резонанс можно рассматривать как загадочного двойника в Другом. Поясним это на примере. Одна из нас, имеющая клиническую подготовку, сказала следующее о разнице между анализом отношений переноса/контрпереноса и работой с резонансом:

«Когда я делала это [анализ переноса/контрпереноса], я чувствовала контроль и власть. Я была интерпретатором, и у меня был этот мощный инструмент, инструмент чувств. При переходе от анализа переноса/контрпереноса к поиску точек резонанса, связанных с собственной жизнью исследователя, произошло нечто новое, что открыло возможности анализа. Когда я смотрела на расшифровку, держа в уме концепцию резонанса, больше всего проявлялось не отсутствие эмпатии, а совсем наоборот, чувство общности. И если говорить о связях – социальных связях, связях между малой и большой историей, связях между поколениями, то работа над резонансом действительно создала новую связь, связь между исследователем и текстом. Это, возможно, касается и отношений власти между исследователями и респондентами с некоторыми выводами об исследовательской этике. Мы больше не были нейтральными исследователями или терапевтами, "диагностирующими" отношения, но субъектами с собственной историей и повседневными проблемами, как и респонденты. И, к нашему удивлению, мы почувствовали, что во многом можем установить связь с Анжелой. Хотя наши истории не совпадали, мы разделяли схожие переживания и чувства».

² «Вторая кожа» – термин, предложенный Эстер Бик для понимания развития психической кожи, сдерживающей тревоги так же, как физическая кожа сдерживает тело (см. *Walkerdine, 2010*).

На самом деле, как выяснилось, все мы резонировали, хотя и по-разному, с одной и той же частью текста, которую мы выбрали в качестве события. Конечно, в тексте может быть много «событий», но каждая из нас выбрала именно это, потому что оно говорило с нами и выделялось как особенно яркое. Мы считаем это главным в методе. Для Давуан и Годийера не так важно, почему тот или иной отрывок выделился, – важно, что это произошло. Ведь именно здесь можно установить связь.

Событие в истории Анджелы

Событием, которое мы выбрали, стал эпизод, в котором Анджела вспоминает, как она впервые возвращается домой на Ямайку в возрасте 23 лет. В аэропорту ее встречает отец, с которым она не жила, и она останавливается у него дома. Выбор этого события был обусловлен сразу несколькими факторами. Во-первых, рассказ чрезвычайно яркий и чувственный. Во-вторых, это совершенно неожиданный поворот в истории, где до сих пор копилась лишь плохие отношения. И, наконец, это то, как нас затянуло в этот очень яркий рассказ, как будто мы проживаем события вместе с Анджелой. У двоих из нас солнце, жара и манго вызвали сильные отголоски пережитого в Индии и Австралии, а для третьей точкой резонанса стала праздничная атмосфера, связанная с машиной ее отца. Таким образом, не понимая почему, мы почувствовали, что нас влечет к этому аспекту истории, как будто мы могли на самом деле погрузиться или нырнуть в него из-за его чувственности. Это ощущение часто говорит нам о том, что чувства человека, испытавшего его, обострены благодаря воспоминанию и поэтому, согласно этому методу, такое воспоминание служит хорошей отправной точкой.

«В отцовской машине»

Давайте начнем с изложения события словами Анджелы:

«Я расскажу вам об отце через минуту, у него была эта классная машина, и он ехал по дороге, и был сезон манго, и э, знаете, всюду были люди, с манго, (?) большое манговое дерево и ведра манго, и ведра манго, и ведра манго, и я сидела сзади, и это было как уууурррррр. Манго-манго, всех видов, знаете. Манго, о, это было чудесно».

В выбранном событии нас особенно поразили первые несколько абзацев расшифровки, то есть самое начало интервью, которое отличалось

от других историй своими позитивными и чувственными описаниями³. Вернувшись на Ямайку и сидя на заднем сиденье машины отца, она, кажется, чувствовала себя как в раю, с манго повсюду. «Манго, о, это было чудесно». Но это событие поразило нас не только своей чувственностью и яркостью и не только тем, что она внезапно рассказала о положительном опыте. Было удивительно услышать, что именно отец встретил ее в аэропорту и что после стольких лет она остановилась в его доме. Из того, что она рассказывала о своем отце, мы представляли, что они не общаются. По нашему общему впечатлению, отец был никчемным – безответственным, безразличным и эгоистичным – и уж точно не человеком, который взял бы на себя труд встретить дочь, которой он так пренебрегал. Анджела так и не рассказывает, почему ее отец приехал встречать ее в аэропорт – она упоминает об этом небрежно, как будто только из практических соображений. Однако интересен способ, которым Анджела представляет своего отца, поскольку она фактически откладывает это: «Я расскажу вам об отце через минуту». И вместо этого продолжает и рассказывает интервьюеру об этом эпизоде с ее отцом. Это не та история, которую она рассказала бы, если бы ее спросили об отце (возможно, именно поэтому она говорит, что расскажет интервьюеру о своем отце через минуту). Это воплощенная история, наполненная чувственными описаниями – классная машина, езда по дороге, ведра манго.

Однако ее положительные чувства сохраняются недолго. Уже в следующем абзаце, когда Анджела размышляет о том, почему она остановилась у своего отца, в доме с коврами и душем с горячей водой, а не в доме своей бабушки, доме, полном бедности, где она выросла, ее разум наполняется негативными эмоциями. Это напоминает ей о бабушке, о бедности и о том, что ее отец не помогал им деньгами. Хороший отец, появившийся на мгновение, потерял, отец – подлый человек, который думает только о себе.

«Вы знаете, мой отец, он такой подлый человек – я не буду выражаться. Он всегда заботился только о себе».

Однако затем позитивные чувства возвращаются: в следующем абзаце Анджела рассказывает, как ей нравится, что у него хороший дом с двумя

³ Мы приводим пример того, как одна из нас резонировала с тем событием, которое мы выбрали. Это позволяет увидеть, что резонанс позволяет нам соединиться с тем, что говорится, с точки зрения нашего собственного опыта. При этом он позволяет нам приблизиться к некоторым, возможно, присутствующим бессознательным и аффективным отношениям с точки зрения субъекта, а не объекта, как в контрпереносе. «То, что Анджела рассказала о своем отце, вызвало во мне резонанс. Как мы увидим, в нашем выбранном событии у Анджелы были чувственные воспоминания о том, как она находилась в машине своего отца. Как и у Анджелы, мой отец не жил с нами, но когда он приезжал, то брал меня покататься на своей шикарной машине. Он всегда был в хорошем настроении, подшучивал надо мной и включал Тома Джонса на своем кассетнике. Мне казалось, что в жизни появлялись краски».

душевыми и что у отца хорошая работа в нефтяной компании. Таким образом, мы действительно посреди теплых чувств, пока в четвертом абзаце не оказываемся снова в машине вместе с Анджелой:

«...мы поехали в главный город, и, э, он типа выезжал обратно, и там была группа парней, молодых людей, стоящих на обочине, и он подозревал этого парня. Я сидела сзади, ела, набивала живот манго, знаете, и он сказал, он просто повернулся вот так и сказал: «Познакомься со своим братом»».

В рассказе Анджелы ее отец, похоже, игнорирует эмоциональное воздействие, которое окажет на нее такая новость, рассматривая появление брата как рядовое событие, но для Анджелы это было шоком.

Тогда же Анджела узнает, что они родились почти в одно и то же время от разных матерей, что подразумевает, что между ее родителями не было большой любви – вероятно, это была связь на одну ночь «за велосипедным сараем», как она лаконично описывает это. И все же то, как Анджела говорит о своем брате – как о хорошем парне, и вероятность того, что братьев и сестер еще больше, вызывает ассоциации с ее собственной восхитительной метафорой – «живот, полный манго». Несмотря на амбивалентность, мысль о братьях и сестрах не только обескураживает. Анджела считает, что приятно представлять себя давно потерянной сестрой. Анджела, кажется, на самом деле гордится своим отцом и его завоеваниями – признавая его желанным гетеросексуальным мужчиной.

«Но Р (отец) был весьма – он интересный, то есть он был очень эгоистичным человеком, он всегда был холостяком, в общем-то, потому что он любит женщин, а женщины любят его».

И все же в последнем абзаце ее отец снова становится мерзавцем. Сексуальная привлекательность сменяется размышлениями о последствиях такого рода мужественности и таких форм гетеросексуальных отношений, которые в истории Анджелы становятся новым предательством доверия.

«Эм, ни с одной из матерей его детей у него не было глубоких и значимых отношений в плане, знаете, принятия ответственности и выполнения отцовской роли, ни с одним из нас, ни со мной, ни с Ф-, ни с В-, э, ни с А-, который умер совсем молодым. И никто из нас, у нас четыре разные матери, и ни одна из наших матерей, вы знаете, не получила от него ничего подобного, и он не дал этого своим детям. Мне очень грустно, потому что (плачет) вы знаете, это почти как будто (плачет) вы совсем ничего не стоите. Он жил примерно как отсюда (Блумсбери) до Вест-Энда. Он жил не более чем в 5 минутах, 10 минутах езды, у него всегда была машина. Он работал представителем нефтяной компании, так что у него была хорошая работа (фыркает). И ему нужно было заботиться только о себе, и он заботился о себе, скотина. Эм, и у него всегда

была новая машина, ну, у него была хорошая машина, надо сказать, красивая, блестящая и все такое, хорошо, но он не заботился обо мне. Он знал, что я живу с бабушкой, а она не могла работать, потому что была прикована к постели, у нее не было денег и все такое, и он просто ничего (плачет), простите, это больно, потому что...»

Мы утверждаем и далее продемонстрируем, что отношения Анджелы с отцом ощущаются как разрыв доверия на многих уровнях. Согласно Давуан и Годийеру, «достаточно хорошее материнство» подразумевает достаточно хорошее «Имя отца». Они пишут, что «отцовская функция концентрирует в себе как воображаемые, так и реальные отношения, всегда более или менее не соответствующие символическим отношениям, которые, по сути, ее и составляют» (2004, р. 71). Если мы правильно их понимаем, то о предательстве отца Анджелы можно сказать, что оно происходит как на воображаемом, так и на символическом уровне. Его не было рядом, он не заботился о ней, не обеспечивал. Например, бабушка Анджелы однажды отправила ее к отцу просить денег. Анджела показывает интервьюеру себя маленькой девочкой, которая несколько часов сидит на ступеньках его дома одна, с сухой коркой хлеба, и ждет, что он придет и даст им денег. Есть также история о том, как ее бабушка обратилась в суд, чтобы заставить отца выплачивать алименты. Но он не признал отцовства; это подрыв доверия на символическом уровне, потому что он отказался заключить союз или договор с бабушкой и тем самым признать Анджелу своим ребенком. «Отец» приравнивается к голоду, покинутости, когда нечего есть, кроме засохшего хлеба. И тем не менее здесь одновременно задействованы манго и желание.

Понимание связей с другими событиями и большими историями

Парадоксальные/амбивалентные отношения с отцом можно связать с ее отношениями с мужчинами во взрослом возрасте, где вновь появляются похожие вопросы о мужчинах, заботе о ней и ее семье, беременности и детях. Было бы легко предположить, что патологические отношения повторяются, но это означало бы упустить принципиально важный момент истории, который мы покажем далее. Можно возразить, что наше настаивание на исторической взаимосвязи истории Анджелы и ее отца затушевывает важный феминистский тезис об угнетении женщин отцами. Мы ни на секунду не хотим сказать, что это не угнетение. Вовсе нет. Мы также не говорим, что у Анджелы какие-то проблемы или она в чем-то виновата. Любое из этих прочтений означает непонимание главного аргумента о том, как история передается из поколения в поколение и бессознательно входит в повседневные практики и отношения. Таким образом, мы считаем необходимым поместить гендерные и семейные отношения в историю, как предлагают Давуан и Годийер, а также не навязывать прочтение, которое не учитывает ее культурное происхождение и специфику. Эти истории настигают всех участников драмы, хотя, очевидно, с разными

последствиями. Подрывы доверия, которые переживает Анджела, – и микро- и макроисторические, то есть они одновременно содержатся в ее малых историях, о которых она рассказывает, и в больших историях, на которые указываем мы.

Колебания Анджелы между положительными и отрицательными чувствами к отцу в событии «в отцовской машине» (ризоматически) связаны с другими эпизодами в тексте – эпизодами, которые все включают в себя брошенность и подрыв доверия, не в последнюю очередь в ее отношениях с другими мужчинами – мужчинами, которых она любила, но которые покинули ее и никогда не были рядом, когда она нуждалась в них больше всего. В каждом случае есть история влюбленности в мужчин, которые так или иначе не были доступны или преданны, но были очень привлекательны. Это выглядит как часть паттерна, который также присутствует в практиках рабства, как мы покажем далее.

В первом случае Анджела встречает механика, к которому сразу же испытывает влечение и даже называет его любовью всей своей жизни, но ясно, что он спит со всеми подряд:

«..ты знаешь, оглядываясь назад, черт, я не ценю себя, когда дело касается мужчин, я не ценю, просто не ценю, потому что Джон, мы не жили вместе, у нас не было этого, мы не были партнерами, я всегда была в квартире, а он появлялся раз в неделю, когда ему хотелось, но я любила его, и тогда я решила, ладно, у меня будет ребенок, и я перестала принимать противозачаточные и сразу же забеременела, и вот появился Дэйв, и я подумала, что могу иметь что-то от него, что полностью мое и не запятнано всеми этими женщинами, с которыми он трахался по всему Лондону, конечно, он был женат недолго до этого, это было просто катастрофой, ладно, так что у меня родился Дэйв, и да, у меня родился Дэйв, сама пришла в больницу, когда начались роды, потому что Джон ушел на вечеринку, и потом пришлось (?) самой возвращаться, знаете, так что опять, и я подумала, оглядываясь назад, что то, что я пыталась сделать, если честно, – это разорвать цикл, вы понимаете, о чем я, но я только еще хуже зацикливалась, я только подпитывала цикл, который надо было разорвать, потому что я связывалась не с теми людьми, и тогда я подумала, хорошо, у меня будет только один ребенок».

Более того, мы можем услышать отголоски как ее истории с отцом-холостяком, его отказа материально поддерживать ее и ее бабушку, так и ее желания, чтобы отец поддержал ее, в другой рассказанной истории о том, как она обратилась к своему отчиму – «папе», когда у нее не было денег, чтобы прокормить ребенка.

«Я помню, как мне пришлось выйти в час ночи в телефонную будку позвонить, чтобы плакать папе, что Джон не побеспокоился, а у меня нет ни молока, ни подгузников. Папа был очень милым. Было ужасно, что приходилось говорить ему об этом, потому что мне было так стыдно, и знаете, у меня Тим в коляске Макларен, завернутый в свою пижамку и все

такое, (?) под дождем и все такое, и я подумала, боже, это как повторение того, как я, знаете, должна была разыскивать отца, чтобы найти деньги, а потом, э, я не знаю, он был совершенно шокирован, когда я сказала ему, чтобы он проваливал».

Затем она встретила другого мужчину, который казался «достаточно зрелым...». «В итоге он стал отцом двух моих детей. И это снова было очередным кошмаром». Это продолжалось недолго, потому что этот мужчина не был верен ей, завел интрижку и ушел. Это глубоко шокировало ее, и она попыталась покончить с собой. После этого она больше никогда не жила с мужчиной. С одной стороны, это история значительной отваги и, конечно, угнетения, но вместо того, чтобы рассказать простую историю сексизма или историю патологического или плохого родительства, или и того, и другого, мы хотим понять, как именно сложность и запутанность истории, большой истории, в данном случае рабства, являются тем, что в некоторой степени невольно разыгрывается здесь.

Однако паттерн не повторяется полностью: она поступила в университет, получила профессию и смогла содержать своих детей. Тем не менее есть важные межпоколенческие сходства, например, в том, как разделяются сексуальное влечение и дети. Сексуальная привлекательность является обязательным условием, а тот факт, что у привлекательного мужчины есть другие женщины или он не вовлекается в отношения, кажется само собой разумеющимся. Это очень тесно связано с тем, что она говорит о своем отце и о карибских мужчинах в целом. То есть ее отец – привлекательный для женщин мужчина, он никогда не женился и вступал в многочисленные отношения. В ее глазах это делает отца привлекательным. Как и ее мать и бабушка, она воспитывает своих детей одна. Таким образом, повторяются паттерны, связанные с сексуальностью и воспитанием детей. Аналогичным образом, необходимость того, чтобы женщины воспитывали детей в одиночку и становились достаточно сильными для этого, похоже, перекликается с жизнью ее бабушки. Далее мы хотим показать, каким образом эта история, ее связь с ее отцом, позволяет нам увидеть, как История входит в комнату.

Хрупкость доверия в случае Анджелы невозможно понять вне социальной истории, замешанной в это событие. То, как Анджела узнала о своем «неизвестном» брате от отца, – один из примеров повседневной истории отношений, которая переплетается с культурной практикой и большой историей. Этот подрыв доверия на самом деле зависит от гораздо более глубокого подрыва доверия – по сути, нарушенного договора, который помещает отца и, следовательно, Анджелу в большую историю, которую нам необходимо понять. В следующем разделе мы рассмотрим сначала аспекты истории рабства, связанные с карибской маскулинностью, а затем – то, как Давуан и Годийер включают большую историю в свою клиническую практику. Здесь важно понять, что Давуан и Годийер считают, что проблемы не исчезают, а воплощаются, и тот факт, что мы можем не знать, что произошло одно или два поколения назад, не означает, что эти события не имеют последствий. Их подход к большой истории –

это не простой детерминистский подход, а нюансированное прочтение, в котором конкретные исторические события и опыт могут быть настолько травмирующими, что они переносятся способами, которые невозможно определить, через тела потомков, особенно если они не могли быть сообщены в то время. В нашем случае главный вопрос – как практики, происходящие из времен рабства, передаются, запутываются и включаются в аффективные отношения и паттерны желаний.

Большая история

Культурная практика, в которой родилась Анджела, – это миграция, в основном из-за бедности, а также, конечно, в надежде на лучшую жизнь для себя и своей семьи. В случае Анджелы мы знаем, что ее мать мигрировала по экономическим причинам, когда Анджеле было примерно пять-семь лет (точный возраст не известен) и она осталась с больной бабушкой и двоюродным братом. Таким образом, ее мать была частью великого бума миграции в 1960-х годах, миграции, которая началась в конце 1940-х годов. Мигранты столкнулись с проявлениями расизма и предательством доверия: родина-мать не хотела их и в конце концов закрыла свою границу, полностью отказавшись от своих «иждивенцев», точно так же, как мать Анджелы отказалась заботиться об Анджеле. Миграция прямо и остро указывает на разрыв самой социальной связи, существовавшей со времен рабства.

Рабство было не просто этапом в истории Карибского бассейна; оно было главной причиной пребывания там большинства людей в XVIII и XIX веках и определило почти каждый элемент культуры региона. Благодаря управлению по принципу «разделяй и властвуй» этнические группы и языки были уничтожены, и язык хозяина должен был стать нашим, так же как и имя хозяина. Не только имена, но и женские тела принадлежали хозяевам. «Двойные браки», когда рабовладельцы имели белую жену в Англии и чернокожую «экономку» в колониях, были хорошо известны (*Green, 2007*). «Англия – для брака, Ямайка – для секса», как выразилась Кэтрин Холл (2002, p. 72).

Мнение о рабской семье обычно сводится к тому, что она была неорганизованной и хаотичной, не в последнюю очередь из-за того, что рабовладельцы были резко против крепких связей между рабами. Следствием этого были как свободные связи между мужчинами и женщинами, так и семейная «матрифокальность» (поскольку рабство передавалось по материнской линии). Женщины были единственным постоянным элементом семьи рабов, а нуклеарные семьи были невозможны в контексте самого рабства. Однако историки утверждают, что альтернативные системы родства были созданы на основе вырванного из своей среды и таким образом преобразованного африканского наследия. Хотя семейную систему невозможно понять в отрыве от травмы рабства, она также является «позитивным приспособлением» (*Green, 2007*), социальной связью, которая включает «творческий синкретизм» (*Craton, 1979*) перед лицом таких страданий. Это можно понимать как попытку переделать социальную связь

через развитие альтернативных общинных и семейных практик. Хотя, конечно, мы должны остерегаться патологизации таких практик, если мы серьезно относимся к позиции Давуан и Годийера, мы все же можем сказать, что они могут быть основаны на травматическом опыте и истории рабства, которые содержатся в них, и передаваться дальше.

Хотя понятие «матрифокальности» в карибских семьях представляется релевантным, не стоит, как подчеркивает Грин (2007), отождествлять его с «матриархатом». Это важно, и не в последнюю очередь в связи с событием, выбранным из интервью Анджелы. Это поднимает вопрос о конструировании карибской маскулинности как в результате рабства, так и в современных условиях. Если белая маскулинность во времена рабства ассоциировалась с властью, достатком, славой и удовольствием, то черная маскулинность «отрицалась и низводилась до чуждости» (Parry, 1996, p. 6). В стремлении к контролю над черными мужчинами белые работодатели использовали две ключевые стратегии: отрицание патриархальных прав и сексуальное присвоение черных женщин – насильственное и преднамеренное лишение черных мужчин власти, домашней или любой другой. Рабы, как правило, инфантилизировались и феминизировались.

По мнению исследователей, эта история связана с тем значением, которое карибские мужчины придают контролю над женщинами и «мужественности», проявляющейся в сексуальной удали и измеряемой серийностью и многочисленностью связей, а также количеством потомства (см., например, Parry, 1996; Linden, 2007). Таким образом, превращение в мужчину прочно ассоциируется с биологическим отцовством, что рассматривается как «неоспоримое доказательство того, что мальчик совершил переход к мужественности» (Linden, 2007, p. 6). Хотя связи между таким типом маскулинности и рабством убедительно документированы, эти отношения, очевидно, также представляют собой комплекс. Таким образом, некоторые из этих характеристик карибской маскулинности мы очень четко узнаем в отце Анджелы. Нет ничего постыдного в том, чтобы представить ей «неизвестного» брата, это может лишь доказать плодовитость и желанность отца – и так же это видит сама Анджела. Часто (справедливо) подчеркиваются проблемы, которые такие мужчины представляют для женщин и семьи. Однако в жизни Анджелы есть и «хорошие» мужчины. А поскольку история не является детерминистской силой, а проживается и воплощается по-разному, в других карибских семьях наблюдается иная картина.

Это подчеркивается в исследовании Трейси Рейнольд (2009), посвященном карибским отцовским ролям Великобритании. Она отмечает, что нормативное отцовство фактически изменилось во всех социальных группах и что отцы-нерезиденты едва ли являются «отклонением» в современных западных обществах. Более того, несмотря на то что «нерезидентный отец» имеет давние традиции в карибской культуре, многие отцы на самом деле не «отсутствуют», а скорее «вращаются вокруг», следуя особым моделям отношений. Существуют «гостевой союз» и «дружеские отношения», когда отец (а иногда и отчим) поддерживает контакт

с матерью и детьми, хотя и не живет с ними (ср. *Brunod and Cook-Darzens, 2002*). Как и Давуан и Годийер, Рейнольдс подчеркивает, что «сети доверия, ценностей и взаимности имеют большое значение для того, чтобы семейные и общественные отношения работали и поддерживали связи, которые скрепляют общество» (*Reynolds, 2009, p. 20*). В жизни Анджелы, вероятно, было трудно построить такого рода «доверие», поскольку семейные сети функционировали по-другому.

По мнению Рейнольдс, как нюансирование, так и культурная рамка карибского отца важны во избежание патологизации их практик. Хотя мы серьезно относимся к этому предостережению против патологизации, мы также видим, что то, как отец Анджелы обращается с ней, причиняет страдания и боль. Знание исторического контекста его мужского поведения само по себе не поможет Анджеле справиться с этим страданием⁴; однако, как мы покажем в следующем разделе, история, которую Анджела носила в своем теле, была заглушена, и если ее удастся осмыслить, она может стать местом доверия, которое выведет ее из диады. Вопрос в том, что происходит до тех пор, пока она не может установить эту историческую связь? И как эта связь может быть установлена в ее теле, а не интеллектуально? Будет ли травматический опыт рабства – здесь проявляющийся в особой версии маскулинности – так и передаваться из поколения в поколение, проживаться как лишённые контекста и потому недоступные для понимания психические раны? Эту ситуацию обсуждает Флетчман Смит (2000, 2011). На основе исторического анализа рабства и многочисленных клинических примеров с людьми из Карибского бассейна, живущими в Великобритании, она подчеркивает центральное значение ран, причиненных на протяжении поколений практикой рабства, для роли мужчин, о которой говорилось выше. Хотя она использует другую психоаналитическую рамку для понимания материала своего случая, ее анализ уверенно подтверждает интерпретацию, приведенную здесь: пытаясь понять современные практики и боль, мы должны обратиться к практикам рабства и тому, как с ними справлялись психологически, как они передавалась сложными путями из поколения в поколение без всякого упоминания рабства, но оказывали свое коварное влияние на мужчин и женщин, отцов, матерей и бабушек, сыновей и дочерей.

История входит в дверь

Мы выступаем за такой подход к социальным исследованиям, который в состоянии понять неразрывность психического и социального. Наша презентация большой истории придает смысл мелким историческим деталям, которые Анджела рассказывает в интервью, и показывает нам, как такой материал передается из поколения в поколение через своих невольных участников. В своей клинической работе Давуан и Годийер

⁴ В более поздней беседе с исследовательницей мы узнали, что Анджела не знала о рабстве, пока не оказалась в Великобритании.

устанавливают эту связь, сочетая исследование с пациентом и аналитические отношения, чтобы что-то можно было понять вместе. В нашем анализе расшифровки интервью этот путь недоступен. Мы можем провести связь между ее отцом и другими аспектами рассказанной ею истории, но на этом психоаналитические и другие психосоциальные подходы часто останавливаются. Связь с историческими процессами очень важна, потому что она создает модус объяснения, который не пытается свести сложные исторические силы и процессы к семье. Этот подход хорошо объясняется в клинической статье Давуан (2007), когда она описывает анализ, в котором пациентка, которой в детстве говорили, что ее мать была депортирована за участие в Сопротивлении, после проигрывания в переносе осознала, что историческая правда заключалась в том, что ее мать была отправлена в Освенцим. Давуан описывает следующий процесс: однажды пациентка входит в консультационную комнату и принимает облик старой еврейской женщины, пришедшей обвинить аналитика как квази-Менгеле в том, что она проводила над ней эксперименты. Давуан узнает в этой старухе мать пациентки, вернувшуюся из Освенцима. В этом сценарии аналитик чувствует, что она «стала» Гитлером, Менгеле, который пытал и ставил опыты над ней/ее матерью и заставил ее/ее мать испытать страдания, которые никогда не должны были быть испытаны. Используя теорию двойника, взятую из работы Арто (1958), Давуан утверждает, что некий аспект ее самой становится двойником, который резонирует с историей пациентки. Давуан это позволяет стать ближе к пациентке, а историческая правда разыгрывается здесь и сейчас во взаимодействии двух режимов. Следовательно, личная/историческая травма должна была быть пережита в переносе, прежде чем ее можно было вспомнить (ср. *Winnicott*, 1974). Или, как говорил Арто, иногда сценарий должен быть исполнен, прежде чем текст станет известен.

Рабство – это не то же самое, что война, но это то, что происходило в определенном месте и в определенный исторический период. Это содержало в себе огромный разрыв доверия, в понимании Давуан и Годийера, а окончательная отмена рабства приняла формы различных договоров. Как потомки рабства несут в своем теле невысказанное и, возможно, невыразимое знание о нем? Как оно передается в повседневных практиках гендера и сексуальности даже в момент его забвения, его ощущения как чего-то принадлежащего прошлому, которого больше нет с нами? Если наш анализ о чем-то говорит, то о том, что прошлое находится в настоящем и не может быть проработано до тех пор, пока вновь не будет создана социальная связь и не будет перезапущено время. В клинических условиях появление большой истории не форсируется, и рассказ пациентки об исчезновении ее матери – уже ощущаемый в переносе – может быть подтвержден проверкой исторических записей. В нашем прочтении Анджелы мы не имеем доступа ни к подобной клинической практике, ни к историческим свидетельствам. Каким образом мы можем тогда понять роль большой истории?

Что направляет аналитика или исследователя по определенному историческому пути? Для Давуан, как мы увидели в случае с женщиной,

чья мать была депортирована, это было ее прочтение того, что разыгрывалось в переносе. Для нас, исследователей, что-то в истории Анджелы указывало на то, что нам необходимо понять производство маскулинности в условиях рабства. Действительно, однажды после оживленной дискуссии, где обсуждалось место отца, одна из нас почувствовала необходимость узнать больше, убежденная, что найдет ответы в истории рабства. Нам нужно работать над такими догадками, думать, какие подсказки нам подбрасывают, даже если в тот момент это кажется хватанием за соломинку. На самом деле чтение о рабстве стало для нас откровением. Оно более чем подтвердило наши первоначальные догадки о сложных отношениях между Анджелой и ее отцом и их месте в большой истории. Однако, как мы уже видели, Анджела говорит, что не знала о рабстве до приезда в Великобританию. Поэтому давайте попробуем понять, каким образом мы можем сказать, что для Анджелы история входит в дверь.

Как мы уже говорили, знание большой истории само по себе ничего не лечит. Чем важна история, так это тем, что она дает возможность выйти за рамки двухмерного мышления, в котором представлены сложные и разрушительные отношения между отцом и дочерью. История входит в комнату, потому что можно утверждать, что тело Анджелы «знает» эту историю через воплощение малых историй, о которых она рассказывает. Что заставляет исследовательскую группу браться за изучение литературы о рабстве? Может ли это быть актом удвоения, подобным тому, о котором рассказывала Давуан? Как Давуан могла увидеть в своей комнате старую еврейскую женщину, пришедшую обвинить ее, так и мы, исследователи, могли увидеть историю, которую ни мы, ни Анджела не понимали до конца. Но она была там – она явилась нам через ее действия, ее чувства, ее малые истории. По мнению Давуан, возможность символизировать событие позволяет мышлению стать трехмерным, вывести его с рискованной арены разрывов в двухмерных отношениях – к трехмерному пространству договора. Аналитик и пациентка формируют альянс с историей – историей, которая охватывает пациентку, и теперь ее знание может быть помыслено. Давуан и Годийер излагают свою позицию следующим образом:

В культурном релятивизме различалось бы то, что нормально здесь, и то, что кажется невыносимым там. Было бы проведено хронологическое различие между войнами в прошлые времена и тем, что происходит сегодня. Мы же сделали противоположный выбор. Мы не можем, конечно, поддержать лживое представление о внеисторической и универсальной психической реальности. Постоянные изменения масштаба и временные парадоксы, с которыми мы сталкиваемся в приводимых нами примерах, подразумевают именно то, что они расположены с максимальной точностью в истории, пространстве и времени. Но мы подчеркнули критические моменты переноса, когда точность этих ссылок размывается и становится неуместной... Субъект и объект перепутаны: здесь и там, внутри и снаружи. Прошлое становится настоящим, мертвые возвращаются. Это голос ребенка, который говорит на сеансе устами взрослого, которым он стал, от имени целого общества, которому грозит исчезновение.

Убийства на далеких африканских берегах переходят в резню, которая произошла в горах, где родился аналитик, в то же время или годами ранее.

Наша работа вызывает к жизни зоны небытия, стертые мощным ударом, который действительно имел место. Однако, независимо от мер, выбранных для стирания фактов и людей из памяти, стирание, даже если оно идеально запрограммировано, только приводит в движение память, которая не забывает и стремится быть написанной заново... Следовательно, нам не нужно выбирать между мелкой деталью и глобальным фактом. Иногда приступ безумия говорит нам больше, чем все новостные сводки об оставленных фактах, которые не имеют права на существование (2004, с. 27).

В нашем случае карибская история рабства с ее последствиями для бедности, семейной жизни и маскулинности не просто служит фоном для такого анализа, а конкретно вплетена в событие, а значит, и в настоящее. Так, что касается отношений Анджелы с отцом, другими мужчинами, братьями и сестрами, детьми, мы можем начать понимать, как малые, или микроистории, рассказанные ею, появляются благодаря резонансу в исследовательской встрече. Мы считаем, что такая работа абсолютно необходима, если мы хотим разработать нюансированный и исторически чувствительный подход к психосоциальным исследованиям. Исследователь не находится в том же положении, что и психоаналитик, но что он может, так это сделать шаг в направлении иного способа понимания феноменов, и это само по себе потенциально меняет ландшафт, в данном случае предоставляя нам способ понять центральное значение истории и исторического опыта в создании субъективности.

Мы понимаем, что связь между малой и большой историей не может быть доказана в рамках данного материала, как она могла бы быть разработана в клинических условиях. Однако нашей целью было изучить методологию социального исследования, в котором потенциально как минимум невозможно отделить семейные отношения от истории, в которой они существуют и имеют смысл и в которой эта история не просто служит фоном для отдельно взятых семейных отношений. Если в нашем подходе что-то и есть, то травма, пережитая Анджелой, связана в настоящем с историей, которая произошла за несколько поколений до этого, когда говорить о ней и прорабатывать ее было невозможно. В лучшем случае это приходилось терпеть.

В таких обстоятельствах люди делают, что могут, из того, что есть. Но это не означает, что тело не помнит на каком-то уровне то, что не может быть произнесено. То, что передается, передается через тела и, как мы попытались продемонстрировать, через аффекты, стремления, желания, воспитание детей, гендерные и сексуальные практики, модусы и фантазии о маскулинности и фемининности. Таким образом, то, что передается, оседает в культурных практиках. Это можно понимать как дальнейшее развитие и выход за рамки таких понятий, как «постпамять» Марианны Хирш (*Hirsch*, 2012). Конечно, мы не видим, как Анджела обсуждает рабство в этом интервью. Наши доказательства принимают форму отношений между практиками и чувствами, о которых она говорит, и тем,

что известно о практиках, навязанных в условиях рабства, между малой и большой историей. Однако, как было показано многими авторами (например, *Fletchman Smith*, *op. cit.*), клиническая связь, безусловно, существует. Разумеется, в разработанном нами методе много спорных моментов, но мы предлагаем его ради исследования важных и сложных вопросов, в надежде, что он вызовет дискуссию. Мы предполагаем, что этот метод способен указать один из путей, которым социальные исследователи могут работать с хаосом, в который ужасные истории погружают не только тех, кто их переживает, но и тех, кто следует за ними.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Artaud A.* (1958) *The Theater and Its Double*. New York: Grove Press.
2. *Badiou A.* (1999) *Deleuze: The Clamor of Being*. Minneapolis: Minnesota University Press.
3. *Badiou A.* (2006) *Being and Event*. Translated by O. Feltham. London: Continuum.
4. *Blackman L. and Venn C.* (2010) *Affect. Body and Society* 16(1): 7–28.
5. *Bion W.* (1959) *Attacks on linking*. *International Journal of Psychoanalysis* 40(1959): 308–315.
6. *Bion W.R.* (1961) *Experiences in Groups*. London: Tavistock Publications.
7. *Bion W.* (1967) *Second Thoughts. Selected Papers on Psycho-analysis*. London: Maresfield.
8. *Bion W.* (1970) *Attention and Interpretation*. London: Tavistock Publications.
9. *Bollas C.* (1987) *The Shadow of the Object: Psychoanalysis of the Unthought Known*. London: Free Association Books.
10. *Brunod R. and Cook-Darzens S.* (2002) *Men's role and fatherhood in French Caribbean families: A multi-systemic 'resource' approach*. *Clinical Child Psychology and Psychiatry* 7(4): 559–569.
11. *Craton M.* (1979) *Changing patterns of slave families in the British West Indies*. *Journal of Interdisciplinary History* 10(1): 1–35.
12. *Davoine F.* (2007) *The character of madness in the talking cure*. *Psychoanalytic Dialogues* 17(5): 627–638.
13. *Davoine F. and Gaudillière J.-M.* (2004) *History Beyond Trauma*. New York: Other Press.
14. *Deleuze G.* (1990) *The Logic of Sense*. New York: Columbia University Press.
15. *Faimberg H.* (2005) *The Telescoping of Generations: Listening To The Narcissistic Links Between Generations*. London: Psychology Press.
16. *Fletchman Smith B.* (2000) *Mental Slavery*. London: Rebus.
17. *Fletchman Smith B.* (2011) *Transcending the Legacies of Slavery*. London: Karnac.
18. *Green C.A.* (2007) *'A civil inconvenience'? The vexed question of slave marriage in the British West Indies*. *Law and History Review* 25(1): 1–60.
19. *Hall C.* (2002) *Civilising Subjects: Metropole and Colony in the English Imagination. 1830–1867*. Chicago: Chicago University Press.

20. *Hirsh M.* (2012) *The Generation of Post-memory: Visual Culture after the Holocaust.* New York: Columbia University Press.
21. *Kerlake C.* (2009) Deleuze and the meanings of immanence. Paper for 'After 68', Jan van Eyck Academy, Maastricht, 16 June.
22. *Kohler Riessman C.* (1993) *Narrative Analysis.* New York: Sage.
23. *Linden L.* (2007) Man talk, masculinity, and a changing social environment. *Caribbean Review of Gender Studies* 1: 1–20.
24. *Nielsen H.B.* (1995) Seductive texts with serious intentions. *Educational Reader* 24(1): 4–12.
25. *Parker I.* (2010) The place of transference in psychosocial research. *Journal of Theoretical and Philosophical Psychology* 30(1): 17–31.
26. *Parry O.* (1996) In one ear and out the other: Unmasking Masculinities in the Caribbean classroom. *Sociological Research Online* 1(2): www.socresonline.org.uk.
27. *Phoenix A.* (2008) *Transforming Transnational Biographical Memories: Adult Accounts of 'Non-normative' Serial Migrant Childhoods in Ethnicity, Belonging and Biography: An Ethnographical and Biographical Perspective.* London: LIT Verlag.
28. *Racamier P.-C.* (1989) *Antoedipe et ses destins.* Paris: Apsygée.
29. *Racamier P.-C.* (1992) *Le Génie des origines: Psychanalyse et psychoses.* Paris: Payot.
30. *Revel J.* (1996) Microanalysis and the construction of the social. In: J. Revel, R. Nadaff and L. Hun (eds.) *Histories. French Constructions of the Past.* New York: New Press, pp. 492–502.
31. *Reynolds T.* (2009) Exploring the absent/present dilemma: Black fathers, family relationships, and social capital in Britain. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science* 624(1): 12–28.
32. *Ricoeur P.* (1991) What is a text? In: M.J. Valdes (ed.) *A Ricoeur Reader. Reflections and Imaginations.* New York: Harvester/Weatsheaf, pp. 45–64.
33. *Salmon T.* (1917) *The Care and Treatment of Mental Diseases and War Neuroses (Shell Shock) in the British Army.* New York: War Work Committee of the National Committee for Mental Hygiene.
34. *Segal H.* (1978) *The Work of Hanna Segal: Delusion and Artistic Creativity and Other Psychoanalytic Essays.* London: Free Association Books.
35. *Symington J.* (1985) The survival function of primitive omnipotence. *International Journal of Psycho-Analysis* 66: 481–487.
36. *Walkerdine V.* (2010) Communal beingness and affect: An exploration of trauma in an ex-industrial community. *Body Society* 16(1): 91–116.
37. *Walkerdine V. and Jimenez L.* (2012) *Gender, Work and Community after De-industrialisation: A Psychosocial Approach to Affect.* London: Palgrave Macmillan.
38. *Winnicott D.W.* (1974) Fear of breakdown. *International Review of Psychoanalysis* 1: 103–107.

Researching Embodiment and Intergenerational Trauma using the work of Davoine and Gaudilliere: History walked in the door

*Valerie Walkerdine, Aina Olsvold and Monica Rudberg
(Translation from eng.: K. A. Barke,
N. P. Busygina, S. V. Yaroshevskaya
Scientific ed.: O. V. Chekunkova)*

Valerie Walkerdine is Distinguished Research Professor in the School of Social Sciences, Cardiff University. She has undertaken research on gender, class and subjectivity for many years. Her latest book is "Gender, work and community after de-industrialisation: A psychosocial approach to affect", Palgrave Macmillan (with Luis Jimenez). She currently holds a Leverhulme Trust Major Research Fellowship, "Roots and Routes", exploring intergenerational transmission and "development". She is also an artist, specializing in installation and performance.

Aina Olsvold (Norway), PhD, is a senior clinical psychologist trained in child and adolescent psychoanalytic psychotherapy. She has been a teacher in child and adolescent psychoanalytic psychotherapy at The Centre for Child and Adolescent Mental Health, Eastern and Southern Norway (R.BUP) for many years and at The Norwegian Association for Psychoanalytic Psychotherapy with Children and Adolescents (NFPPBU).

Monica Rudberg, Professor at Department of Educational Studies, University of Oslo and has for several years been involved in both youth and gender studies. Her latest project: Gender in time – A three generational study of women and men (with Harriet Bjerrum Nielsen) has resulted in several articles and books, both in Norwegian and English.

The work of French psychoanalysts Françoise Davoine and Jean-Max Gaudillière centres on the understanding of the ways in which large historical traumas associated with war are brought to life by descendants, often generations later, who carry an experience that they cannot understand and that erupts as psychosis. They have devised a unique clinical method in which, together with the patient, they research what they term as the missing "social link", a link broken within an earlier generation by a personal or family experience of an extreme situation. Their work, which draws upon a historical reframing and broadening of Lacan, is deeply resonant with implications for psychosocial enquiry within the social sciences. In this article, we show how we developed a method for engaging with interviews with women who were serial migrants. In paying attention to their story, we show how we attended to the complex manifestations in the material of the embodied experiences associated with a history of slavery, colonization, poverty and migration. Our aim was to develop a mode of working, which did not pathologize but still recognized the transmission of suffering and distress in complex ways and its twists and turns across generations. In doing this, we sought to provide a way of working that radically rejected any split between a psychic/personal and social/historical realm.

Keywords: trauma, psychosis, history, embodiment, social research, Davoine and Gaudillière.